

Л.Я. Шнейберг, И.В.Кондаков

«Один день» зэка и история страны. Сюжет и герой повести «Один день Ивана Денисовича»

С позиций слившегося опыта интеллигенции и народа, прошедших крестный путь нечеловеческих испытаний ГУЛАГа, Солженицын выносит в советскую печать свою «лагерную» повесть — «Один день Ивана Денисовича». Товарищ Солженицына по Марфинской шарашке, писатель, переводчик и филолог Л. Копелев приносит рукопись в «Новый мир» (1961). После долгих переговоров с властями Твардовский получает в октябре 1962 года разрешение Хрущева на публикацию «Одного дня...». В 11-м номере «Нового мира» за 1962 год повесть была опубликована, и автор ее в одночасье становится всемирно известным писателем. Ни одна публикация времен «оттепели», да и много лет спустя продолжившей ее горбачевской «перестройки» не имела подобного резонанса и силы воздействия на ход отечественной истории. Приоткрывшаяся щелка в «совершенно секретный» мир сталинской душегубки не просто раскрыла одну из самых страшных и жгучих тайн XX века. Правда о ГУЛАГе (еще очень маленькая, частная, почти интимная по сравнению с будущим монолитом «Архипелага»!) показала «всему прогрессивному человечеству» *органическое родство* всех отвратительных разновидностей тоталитаризма, будь то гитлеровские «лагеря смерти» (Освенцим, Майданек, Трешлинка), или сталинский Архипелаг ГУЛАГ — те же лагеря смерти, только направленные на истребление собственного народа и осененные коммунистическими лозунгами, лживой пропагандой создания «нового человека» в ходе ожесточенной классово-борьбы и беспощадной «перековки» человека «старого».

По обыкновению всех партийных руководителей Советского Союза Хрущев пытался и Солженицына использовать, вместе с его повестью, в качестве «колесика и винтика» партийного дела. В своей известной речи на встрече с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года он представил открытие Солженицына как писателя заслугой партии, результатом мудрого партийного руководства литературой и искусством в годы своего собственного правления:

«В последние годы в своем творчестве деятели литературы и искусства уделяют большое внимание тому периоду в жизни советского общества, который связан с культом личности Сталина. Все это вполне объяснимо и закономерно. Появились произведения, в которых правдиво, с партийных позиций освещается советская действительность тех лет. Можно было бы привести как пример поэму А. Твардовского “За далью — даль”, повесть А. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”, некоторые стихи Е. Евтушенко, кинофильм Г. Чухрая “Чистое небо” и другие произведения.

Партия поддерживает подлинно правдивые художественные произведения, каких бы отрицательных сторон жизни они ни касались, если они помогают народу в его борьбе за новое общество, сплачивают и укрепляют его силы».

Условие, при котором партия поддерживала произведения, касающиеся «отрицательных сторон жизни», было сформулировано Хрущевым отнюдь не случайно: искусство и литература — «с партийных позиций» — нужны для того, чтобы *помогать* в «борьбе за новое общество», а не *против* него, чтобы *сплачивать и укреплять* силы коммунистов, а не раздроблять их и разоружать перед лицом идеологического противника. Далеко не всем партийным деятелям и писателям, аплодировавшим Хрущеву в 1962–1963, было ясно, что Солженицын и Хрущев преследовали разные цели, утверждали взаимоисключающие идеи. Если Хрущев хотел спасти коммунистический режим за счет проведения

половинчатых реформ, идеологической либерализации умеренного толка, то Солженицын стремился сокрушить его, взорвать правдой изнутри.

В то время это понимал один Солженицын. Он верил в свою правду, в свое предназначение, в свою победу. И в этом у него не было единомышленников: ни Хрущев, ни Твардовский, ни новомировский критик В. Лакшин, борющийся за Ивана Денисовича, ни Копелев...

Первые восторженные отзывы о повести «Один день Ивана Денисовича» были наполнены утверждениями о том, что «появление в литературе такого героя, как Иван Денисович, — свидетельство дальнейшей демократизации литературы после XX съезда партии»; что какие-то черты Шухова «сформировались и укрепились в годы советской власти»; что «любому, кто читает повесть, ясно, что в лагере, за редким исключением, люди оставались людьми именно потому, что были советскими по душе своей, что они никогда не отождествляли зло, причиненное им, с партией, с нашим строем».

Возможно, авторы критических статей делали это для того, чтобы поддержать Солженицына и защитить его детище от нападок враждебной критики сталинистов. Всеми силами те, кто оценил по достоинству «Один день...», пытались доказать, что повесть обличает лишь отдельные нарушения социалистической законности и восстанавливает «ленинские нормы» партийной и государственной жизни (только в этом случае повесть могла увидеть свет в 1963 году, да еще и быть выдвинутой журналом на Ленинскую премию).

Однако путь Солженицына от «Одного дня...» к «Архипелагу ГУЛАГ» неопровержимо доказывает, как уже к тому времени был далек автор от социалистических идеалов, от самой идеи «советскости». «Один день...» — лишь маленькая клеточка огромного организма, который называется ГУЛАГ. В свою очередь ГУЛАГ — зеркальное отражение системы государственного устройства, системы отношений в обществе. Так что жизнь целого показана через одну его клеточку, притом не самую худшую. Разница между «Одним днем...» и «Архипелагом» прежде всего в масштабе, в документальной точности. И «Один день...», и «Архипелаг» — не об «отдельных нарушениях социалистической законности», а о противозаконности, точнее — противоестественности самой системы, созданной не только Сталиным, Ягодой, Ежовым, Берия, но и Лениным, Троцким, Бухариным и другими руководителями партии.

Иван Денисович вроде и не ощущает себя *советским* человеком, не отождествляет себя с *советской* властью. Вспомним сцену, где кавторанг Буйновский объясняет Ивану Денисовичу, почему солнце выше всего в час дня стоит, а не в 12 часов (по декрету время было переведено на час вперед). И неподдельное изумление Шухова: «Неуж и солнце *ихним* декретам подчиняется?» Замечательно это «ихним» в устах Ивана Денисовича: я — это я, и живу по своим законам, а *они* — это они, у них свои порядки, и между нами отчетливая дистанция.

Шухов, заключенный Щ-854, не просто герой другой литературы, он герой другой жизни. Нет, он жил как все, точнее, как жило большинство, — трудно; когда началась война, ушел воевать и воевал честно, пока не попал в плен. Но ему присуща та твердая нравственная основа, которую так старательно стремились выкорчевать большевики, провозглашая приоритет государственных, классовых, партийных ценностей над ценностями общечеловеческими. Иван Денисович не поддался процессу расчеловечивания даже в лагере, он остался человеком. Что помогло ему устоять?

Кажется, все в Шухове сосредоточено на одном — только бы выжить: «В контрразведке били Шухова много. И расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживешь еще малость. Подписал». Да и сейчас в лагере Шухов рассчитывает каждый свой шаг. Утро начиналось так: «Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему — до развода было часа полтора времени своего, не казенного, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить кому-нибудь

из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов». В течение дня Шухов старается быть там, где все: «надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только». Под телогрейкой у него специальный карманчик пришит, куда кладет сэкономленную пайку хлеба, чтоб съесть не наспех, «наспех еда не еда». Во время работы на ТЭЦ Шухов находит ножовку, за нее «могли дать десять суток карцера, если бы признали ее ножом. Но сапожный ножичек был заработок, был хлеб! Бросать было жалко. И Шухов сунул ее в ватную рукавицу». После работы, минуя столовую (!), Иван Денисович бежит в посылочную занять очередь для Цезаря, чтоб «Цезарь <...> Шухову задолжал». И так — каждый день. Вроде бы живет Шухов одним днем, нет, впрок живет, думает о следующем дне, прикидывает, как его прожить, хотя не уверен, что выпустят в срок, что не «припаяют» еще десятку. Не уверен Шухов, что выйдет на волю, своих увидит, а живет так, будто уверен.

Иван Денисович не задумывается над так называемыми проклятыми вопросами: почему так много народа, хорошего и разного, сидит в лагере? В чем причина возникновения лагерей? Да и за что сам сидит — не знает, вроде бы и не пытается осмыслить, что с ним произошло: «Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое же задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание». Единственный раз на протяжении повести Шухов обращается к этому вопросу. Его ответ звучит слишком общо, чтобы быть результатом глубокого анализа: «А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не приготовились, за это? А я при чем?»

Почему так? Очевидно, потому, что Иван Денисович принадлежит к тем, кого называют природным, естественным человеком. Природный человек, к тому же всегда живший в лишениях и недостатке, ценит прежде всего непосредственную жизнь, существование как процесс, удовлетворение первых простых потребностей — еды, питья, тепла, сна. «Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил, пил. Как горячее пошло, разлилось по его телу — аж нутро его все трепыхается навстречу баланде! Хор-рошо! Вот он, миг короткий, для которого и живет ээк». «Можно двухсотграммовку доедать, можно вторую папироску курить, можно и спать. Только от хорошего дня развеселился Шухов, даже и спать вроде не хочется». «Пока начальство разберется — приткнись, где потеплей, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если около печки, — портянки переобернуть да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут теплые. А и без печки — все одно хорошо». «Теперь вроде с обувью приналадилось: в октябре получил Шухов <...> ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо». «Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, <...> с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый».

И в Усть-Ижме прижился Иван Денисович, хоть и работа там была тяжелее, и условия хуже; доходягой был там — и выжил.

Естественный человек далек от такого занятия, как размышление, анализ; в нем не пульсирует вечно напряженная и беспокойная мысль, не возникает страшный вопрос: зачем? почему? Дума Ивана Денисовича «все к тому ж возвращается, все снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? В санчасти освободят ли вечером? Посадят капитана или не посадят? И как Цезарь на руки раздобыл свое белье теплое?»

Природный человек живет в согласии с собой, ему чужд дух сомнений; он не рефлексивен, не смотрит на себя со стороны. Этой простой цельностью сознания во многом объясняется жизнестойкость Шухова, его высокая приспособляемость к нечеловеческим условиям.

Природность Шухова, его подчеркнутая чуждость искусственной, интеллектуальной жизни сопряжены, по мысли Солженицына, с высокой нравственностью героя.

Шухову доверяют, потому что знают: честен, порядочен, по совести живет. Цезарь со спокойной душой прячет у Шухова продуктовую посылку. Эстонцы дают в долг табак, уверены — отдаст.

Высокая степень приспособляемости Шухова не имеет ничего общего с приспособленчеством, униженностью, потерей человеческого достоинства. Шухову «крепко запомнились слова его первого бригадира Куземина <...>: “В лагере вот кто поддыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать”».

Эти спасительные пути ищут для себя люди нравственно слабые, пытающиеся выжить за счет других, «на чужой крови». Физическая выживаемость сопровождается, таким образом, моральной гибелью. Не то Шухов. Он всегда рад заpastись лишней пайкой, раздобыть табак, но не как Фетюков-шакал, который «в рот засматривает, и глаза горят», и «слюнявит»: «Да-айте разок потянуть!» Шухов раздобудет курево так, чтобы не уронить себя: разглядел Шухов, что «однбригадник его Цезарь курил, и курил не трубку, а сигарету — значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и вполоборота глядел мимо него». Занимая очередь за посылкой для Цезаря, Шухов не спрашивает: «Ну, получили? — потому, что это был бы намек, что он очередь занимал и теперь имеет право на долю. Он и так знал, что имеет. Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Очень точно заметил один из первых доброжелательных критиков повести В. Лакшин, что «слово “утверждался” не требует тут дополнений — “утверждался” не в чем-то одном, а в общем своем отношении к жизни».

Отношение это сложилось еще в той, другой жизни, в лагере оно лишь получило проверку, прошло испытание.

Вот читает Шухов письмо из дома. Пишет жена о красилых: «А промысел есть-таки один новый, веселый — это ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, и все больше таких мастаков *красилей* набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку дает, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. <...> И очень жена надежду таит, что вернется Иван и тоже в колхоз ни ногой, и тоже таким красилем станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьется...»

«...Видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы. В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать легкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого, и в лагере не научился.

Легкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал».

Нет, не легкое, точнее, не легковесное отношение к жизни у Шухова. Его принцип: заработал — получай, а «на чужое добро брюха не распяливай». И Шухов работает на «объекте» так же добросовестно, как и на воле. И дело не только в том, что работает в бригаде, а «в лагере бригада — это такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга. Тут так: или всем *дополнительное*, или все поддыхайте».

Для Шухова в этой работе нечто большее — радость мастера, свободно владеющего своим делом, ощущающего вдохновение, прилив энергии.

С какой трогательной заботой припрятывает Шухов свой мастерок. «Мастерок — большое дело для каменщика, если он по руке и легок. Однако на каждом объекте такой порядок: весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь — это от удачи. Но однажды Шухов обсчитал инструментальщика и лучший мастерок зажиллил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает, а утро каждое, если кладка будет, берет». И в этом чувствуется практичная крестьянская бережливость. Обо всем забывает Шухов во время работы — так увлечен делом: «И как вымело все мысли из головы. Ни о чем Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило».

«И не видел больше Шухов ни озера дальнего, где солнце блеснило по снегу, ни как по зоне разбредались из обогревалок работяги <...> Шухов видел только стену свою — от развязки слева, где кладка поднималась <...> и направо до угла <...> А думка его и глаза его выучивали из-под льда саму стену <...> Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря, а теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей». Шухову даже жаль, что пора работу кончать: «Что, гадство, день рабочий такой короткий? Только до работы припадешь — уж и съем!» Хоть и шутка это, а есть в ней доля правды для Ивана Денисовича.

Все побегут к вахте. «Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули». В этом — весь Иван Денисович.

Оттого и недоумевают совестливый Шухов, читая письмо жены, как же можно в своей деревне не работать: «А с сенокосом как же?» Беспокоится крестьянская душа Шухова, хоть и далеко он от дома, от своих и «жизни их не поймешь».

Труд — это жизнь для Шухова. Не развратила его советская власть, не смогла заставить халтурить, отлынивать. Тот уклад жизни, те нормы и неписанные законы, которыми от века жил крестьянин, оказались сильнее. Они — вечные, укорененные в самой природе, которая мстит за бездумное, халтурное к ней отношение. А все остальное — наносное, временное, преходящее. Вот почему Шухов из другой жизни, прошлой, патриархальной.

Здравый смысл... Это им руководствуется Шухов в любой жизненной ситуации. Здравый смысл оказывается сильнее страха даже перед загробной жизнью. «Я ж не против Бога, понимаешь, — объясняет Шухов Алешке-баптисту. — В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите?» И тут же, отвечая на вопрос Алешки, почему Богу не молится, Шухов говорит: «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или в жалобе отказать».

Трезвый взгляд на жизнь упрямо замечает все несообразности во взаимоотношениях между прихожанами и церковью, точнее, священнослужителями, на которых лежит посредническая миссия. Вот поп в Поломенской церкви (ближайшей к шуховской деревушке): «...богаче попа нет человека. <...> И архиерей областной у него на крючке, лапу жирную наш поп архиерею дает. И всех других попов, сколько их присылали, выживает, ни с кем делиться не хочет...» А что адом пугать? Вот он, ад — Особлаг, в котором ни за что ни про что сидит Шухов и миллионы ему подобных. Как же Бог это допустил?

Так что живет Иван Денисович по старому мужицкому правилу: на Бога надейся, а сам не плошай!

В одном ряду с Шуховым такие, как Сенька Клевшин, латыш Кильдигс, кавторанг Буйновский, помощник бригадира Павло и, конечно, сам бригадир Тюрин. Это те, кто, как писал Солженицын, «принимают на себя удар». Им в высшей степени присуще то умение жить, не роняя себя и «слов зря никогда не роняя», которое отличает Ивана Денисовича. Не случайно, видимо, это в большинстве своем люди деревенские, «практические».

Особенно колоритен образ бригадира Тюрина. Он для всех — «отец». От того, как наряд («процентовку») закрыл, зависит жизнь всей бригады. «“Хорошо закрыл” — значит, теперь пять дней пайки хорошие будут». «Который бригадир умный — тот не так на работу, как на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано докажи, что сделано; за что дешево платят — оберни так, чтоб дороже. Но это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиком». В лагере, как и в жизни, надо уметь жить. А Тюрин не только за свою жизнь в ответе. Так что он и сам жить умеет, и за других думает.

Сидит Тюрин как сын раскулаченного. Скрывался, «год писем домой не писал, чтоб следа не нашли. И живы ли там, ничего не знал, ни дома» про него ничего не знали. Возможно, видел в раскулачивании акт справедливости, возможно, выжить хотел (Тюрин служил в это время в армии, был отличником боевой и политической подготовки). Однако раскрыли. Попал в лагерь («десятку дали»), и в лагере уже точно понял, что к чему. Когда встретил на пересылке своего комвзвода и узнал, что и комполка, и комиссар (что дали «лютую справочку на руки: “Уволен из рядов... как сын кулака”») «обая расстреляны в тридцать седьмом», перекрестился и сказал: «Все ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь». Понял Тюрин, что «жара от костра классовой борьбы» (как говорил Сафронов в «Котловане»), недостаточно, «огонь должен быть», вот почему недавние палачи становятся жертвами. Тридцатый год аукнулся тридцать седьмым.

Кавторанг Буйновский тоже из тех, «кто принимает на себя удар», но, как кажется Шухову, часто с бессмысленным риском. Вот, например, утром на шмоне надзиратели «телогрейки велят распустить (где каждый тепло барачное спрятал), рубахи расстегнуть — и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава». «Буйновский — в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трех месяцев нет:

— Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь». И что в результате? Получил Буйновский «десять суток строгого». Реакция на происшедшее битого-перебитого Сеньки Клевшина однозначна: «Залупаться не надо было! <...> Обошлось бы все». И Шухов его поддерживает: «Это верно, кряхти да гнись. А упрешься — переломишься».

Бессмыслен и бесцелен протест кавторанга. Надеется Шухов только на одно: «Придет пора, и капитан жить научится, а пока еще не умеет». Ведь что такое «десять суток строгого»: «Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца,— это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь».

Вечером пришел надзиратель в барак, ищет Буйновского, спрашивает бригадира, а тот темнит, «тянет бригадир, хочет Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть». Тогда надзиратель выкрикнул: «Буйновский — есть?» «А? Я! — отозвался кавторанг. <...> Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадет», — заключает Шухов неодобрительно.

Нет, не умеет жить кавторанг. На его фоне еще более выпукло, зримо ощущается практичность, несуетность Ивана Денисовича.

И Шухову, с его здравым смыслом, и Буйновскому, с его непрактичностью, противопоставлены те, кто не «принимает на себя удар», «кто от него уклоняется». Прежде всего, это кинорежиссер Цезарь Маркович.

Вот уж устроился так устроился: у всех шапки заношенные, старые, а у него меховая новая шапка, присланная с воли («Кому-то Цезарь подмазал, и разрешили ему носить чистую новую городскую шапку. А с других даже обтрепанные фронтальные посдирали и дали лагерные, свинячьего меха»); все на морозе работают, а Цезарь в тепле в конторе сидит. Шухов не осуждает Цезаря: каждый хочет выжить. Но вот то, что Цезарь как само собой разумеющееся принимает услуги Ивана Денисовича, его не украшает.

Принес ему Шухов обед в контору, «откашлялся <...> стесняясь прервать образованный разговор. Ну и тоже стоять ему тут было ни к чему. Цезарь оборотился, руку

протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху <...>».

«Образованные разговоры» — вот одна из отличительных черт жизни Цезаря. Он образованный человек, интеллеktуал. Кино, которым занимается Цезарь, — игра, то есть выдуманная, ненастоящая жизнь (тем более с точки зрения зэка). Игрой ума, попыткой отстраниться от лагерной жизни занят и сам Цезарь. Даже в том, как он курит, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то», сквозит изящный эстетизм, далекий от грубой реальности.

Примечателен разговор Цезаря с каторжанином X-123, жилистым стариком, о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный»: «...объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!» — говорит Цезарь. «Кривлянье! <...> Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного!» — отвечает старик.

Но Цезаря прежде всего интересует «не *что*, а *как*», его больше всего занимает, как это сделано, его увлекает новый прием, неожиданный монтаж, оригинальный стык кадров. Цель искусства при этом — дело второстепенное; «гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании» (так характеризует фильм X-123) оказывается вовсе не такой важной для Цезаря. Он пропускает мимо ушей и реплику своего оппонента по поводу этой «идеи»: «Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции». Пытаясь оправдать Эйзенштейна, а скорее всего себя, Цезарь говорит, что только такую трактовку пропустили бы. «Ах, пропустили бы? — взрывается старик. — Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»

Вот и получается, что «игра ума», произведение, в котором слишком «много искусства», — безнравственно. С одной стороны, это искусство служит «вкусу тиранов», оправдывая таким образом то, что и жилистый старик, и Шухов, и сам Цезарь сидят в лагере; с другой — пресловутое «как» (посылаемое стариком «к чертовой матери») не пробудит, по мысли автора, «добрых чувств», а потому не только не нужно, но и вредно.

Для Шухова — безмолвного свидетеля диалога — все это «образованный разговор». Но насчет «добрых чувств» Шухов хорошо понимает, — идет ли речь о том, что бригадир «в доброй душе», или о том, как он сам «подроботал» у Цезаря. «Добрые чувства» — это реальные свойства живых людей, а профессионализмы Цезаря — это, как будет писать позднее сам Солженицын, — «образованщина».

Цезарь и с кавторангом пытается говорить на свои излюбленные темы: монтаж, крупный план, ракурс. Но и Буйновский «ловит» его на игре, на нежелании соотнести выдуманное и реальное. Они обсуждают другой фильм того же режиссера — «Броненосец “Потемкин”». «Но морская жизнь там кукольная», — говорит кавторанг. Кино (сталинское, советское кино) и жизнь! Цезарь не может не вызывать уважения влюбленностью в свое дело, увлеченностью своей профессией; но нельзя отделаться от мысли, что желание поговорить об Эйзенштейне во многом связано с тем, что сидел Цезарь целый день в тепле, трубочку покуривал, даже в столовую не ходил («не унижался ни здесь, ни в лагере», замечает автор). Он живет вдалеке от реальной лагерной жизни.

Вот не спеша подошел Цезарь к своей бригаде, что у ворот собралась, ждет, когда после работы в зону можно будет идти:

«— Ну как, капитан, дела?»

Гретому мерзлого не понять. Пустой вопрос — дела как?

— Да как? — поводит капитан плечами. — Нароботался вот, еле спину распрямил».

Цезарь в бригаде «одного кавторанга и придерживается, больше ему не с кем душу отвести». Да вот Буйновский смотрит на сцены из «Броненосца...» совсем другими глазами: «... черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были? <...> Думаю,

это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки говенной, да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы...»

Реальность остается скрытой от Цезаря. Он расходует свой интеллектуальный потенциал очень избирательно. Его, как и Шухова, вроде бы не занимают «неудобные» вопросы. Но если Шухов всем своим существом и не предназначен не только для решения, но и для постановки подобных проблем, то Цезарь, видимо, сознательно уходит от них. То, что оправданно для Шухова, оборачивается для кинорежиссера если не прямо виной, то бедой. Шухов иной раз даже жалеет Цезаря: «Небось много он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть ...».

По Солженицыну, *в жизни понимает* больше других сотоварищей, включая не только Цезаря (невольного, а подчас и добровольного пособника сталинского «цесаризма»), но и кавторанга, и бригадира, и Алешку-баптиста, — всех действующих лиц повести, — *сам Иван Денисович* со своим немудрящим мужицким умом, крестьянской сметкой, ясным практическим взглядом на мир. Солженицын, конечно, отдает себе отчет в том, что от Шухова не нужно ждать и требовать осмысления исторических событий, интеллектуальных обобщений на уровне его собственного исследования Архипелага ГУЛАГ. У Ивана Денисовича другая философия жизни, но это тоже философия, впитавшая и обобщившая долгий лагерный опыт, тяжкий исторический опыт советской истории. В лице тихого и терпеливого Ивана Денисовича Солженицын воссоздал почти символический в своей обобщенности образ русского народа, способного перенести невиданные страдания, лишения, издевательства коммунистического режима, ярмо советской власти и блатной беспредел Архипелага и, несмотря ни на что, — *выжить* в этом «десятом круге» ада. И сохранить при этом доброту к людям, человечность, снисходительность к человеческим слабостям и непримиримость к нравственным порокам.

Один день героя Солженицына, пробежавший перед взором потрясенного читателя, разрастается до пределов целой человеческой жизни, до масштабов народной судьбы, до символа целой эпохи в истории России. «Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»

Солженицын уже тогда — если не знал, то предчувствовал: *срок*, накрученный страной партией большевиков, подходит к концу. И ради приближения этого часа стоило бороться, не считаясь ни с какими личными жертвами.

А началось все с публикации «Одного дня Ивана Денисовича»... С изложения простого мужицкого взгляда на ГУЛАГ. Может быть, если бы Солженицын начал с печатания своего интеллигентского взгляда на лагерный опыт (например, в духе его раннего романа «В круге первом»), ничего бы у него не получилось. Правда о ГУЛАГе еще долго бы не увидела света на родине; зарубежные публикации, вероятно, предшествовали бы отечественным (если бы те оказались вообще возможными), а «Архипелаг ГУЛАГ», может, и вообще бы не был написан: поток писем и доверительных рассказов, легших в основу исследования Солженицына, начался именно после публикации «Одного дня» в «Новом мире»... Вся история нашей страны, наверно, сложилась бы по-другому, если бы в ноябрьской книжке журнала Твардовского за 1962 год не появился бы «Иван Денисович»!

По этому поводу Солженицын позже писал в своих «очерках литературной жизни» «Бодался теленок с дубом»: «Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущев. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот это его dokonная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее».